

ФЕЛЬЕТОНЫ

ДЖЕМСА

ЛИНЧА

С 1900 года Л. Андреев публиковал в «Курьере» два цикла фельетонов. Один — отклики на злобу дня — носил заглавие «Впечатления». Второй цикл — «Москва. Мелочи жизни» — составили большие воскресные фельетоны, печатавшиеся под псевдонимом Джемс Линч. Грозный и бескомпромиссный мэр из средневекового ирландского города Гальвея переселился на страницы московского «Курьера», чтобы бичевать пороки и защищать справедливость. Конечно, Л. Андреев-фельетонисту приходилось писать о скверных мостовых, о городском водопроводе, о дачном сезоне и конке. Но даже в кругу этих дозволенных цензурой тем Джемс Линч стремился к обобщениям. Рассказывая о тусклой, серой жизни обывателей, он сочувствовал тем, «кто хотел бы стать выше отупляю-

щей среды, лишь о дне своем заботящейся и в высь не взлетающей». И не случайно свой первый фельетон из цикла «Впечатления» Л. Андреев посвятил Глебу Успенскому, в «страданиях искавшему по всей широкой России давно затмившейся правды и давно оброненной совести».

Огромное значение для Л. Андреева, по его собственному признанию, имело знакомство с М. Горьким. Тот первым обратил внимание на опубликованный в 1898 году в «Курьере» рассказ Л. Андреева «Баргамот и Гараська» и помог начинающему писателю войти в большую литературу. В этот период жизни Леонида Андреева в его фельетонах — и, видимо, не без влияния М. Горького — усиливаются ноты бодрости, жизнелюбия. Все более настойчивыми и упорными становятся поиски Джемсом Линчем положительного героя в жизни, который противостоял бы «хилым натурам» обывательского существования. Таким, в частности, был отклик Л. Андреева на постановку в Москве театром Ф. А. Корша романтической драмы Э. Ростана «Сирано де Бержерак» в переводе Т. А. Щепкиной-Куперник («Курьер», 1900 г. № 258, 17 сентября). Примечательно, что в своей оценке пьесы Джемс Линч очень близко подходит к М. Горькому, посвятившему представлению «Сирано де Бержерак» в Нижнем Новгороде особую статью («Нижнегородский листок», 1900 г. № 4, 5 января), 7 ноября

1901 года М. Горький, находящийся под надзором полиции, выехал из Нижнего Новгорода через Москву в Крым. Опасаясь возможных политических демонстраций, власти задержали М. Горького на станции Москва-Рогожская и «нарочито составленным поездом» доставили в Подольск, откуда М. Горький должен был продолжать поездку на юг, минуя Москву. Л. Андреев был среди друзей М. Горького, которые выехали для встречи с ним из Москвы в Подольск. Фельетон Джемса Линча об этой встрече был запрещен цензурой, однако Л. Андрееву все же удалось, не называя имени М. Горького, поместить 27 ноября 1901 года в «Курьере» (№ 323), написанный «эзоповым языком» фельетон из цикла «Впечатления», навеянный поездкой к М. Горькому в Нижний Новгород. Своеобразным комментарием к этому фельетону Л. Андреева могли бы быть его собственные слова в письме к К. П. Пятницкому от 12 мая 1902 года о влиянии на Л. Андреева Горького — «не литературном, а влиянии рыцаря духа на колеблющегося и нерешительного любителя этого самого духа».

Оба фельетона не входили в собрания сочинений Леонида Андреева и печатаются по тексту газеты «Курьер».

Публикацию подготовил научный сотрудник
Института мировой литературы АН СССР
Вадим ЧУВАКОВ

Леонид АНДРЕЕВ

МОСКВА. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ



Л. АНДРЕЕВ с матерью
(1910—1912 гг.).

Из архивов Государственно-го литературного музея.
Публикуется впервые.

Публикация О. ТОЧЕНОГО

умеренны, как он, и если целуют руки у прислужниц, то только у своих и притом в отсутствие жены. Знаю я, наконец, что поэты никогда не говорят правды в лицо сильному мира сего, и если их бьют, как и Сирано, по голове, то только за неправду.

И любят люди не так, как любил Сирано, — я знаю и это. Они не гонят со сцены наглого актера, осмелившегося любовно-страстно взглянуть на их возлюбленную, а или спокойно отдают ему свое сокровище, или, быть может, и гадят, но только из-за угла, а потом скопом набрасываются на него и бьют. Если женщина их не любит, они не устраивают счастье ее с своим противником, но или обвиняют его в краже портсигара, или убивают: ее, соперника, даже себя; наконец, пишут анонимные письма и доносы. Не умалчивают они и о недостатках своего соперника: если он умен, доказывают его глупость, если он дурак — изображают его безнадежным идиотом. Иногда поэты и пишут для дураков любовные письма, но не дешевле, чем за рюмку водки — большую десятикопеечную. Никто, наконец, не пользуется красноречием для любви: его продают в суде, в книге, на кафедре, возлюбленную же молча обнимают и целуют: она сама и догадывается, что это значит.

Умирать же так, как умер Сирано, не только никто не умирает, посчитает за неприличное. Во-первых, умирают всегда дома, а не идут для этого в гости. Умирать начинают не за

полчаса до смерти, а лет за тридцать по меньшей мере. Последнее, что перестало жить в Сирано, было его великое сердце — у настоящих людей оно умирает первым, так как и мало, и худосочно, да и излишне, говоря по правде. Страдая от боли, о боли именно и кричат, и если рассказывают анекдоты, как Сирано, то в непрерывной связи с собственным геморроем. Умирая, наконец, не вызывают на бой самое грозное оружие, а просят послать скорее за доктором, и если поднимают руку, то вооруженную не непобедимой шпагой, а пером, чтобы подписать завещание.

Все это я знаю, знаю вполне достаточно для того, чтобы жить, любить и умереть как настоящему человеку. Но почему я не верю во все это и правдой считаю то, чего никогда не бывает? Почему для меня убедительнее всех социологических трактатов и грошовой психологической мудрости эта неестественная смерть Сирано? Сейчас, в эту минуту, я вижу его, предательски лишенного жизни, но не мужества, вижу его встречающим эту всем страшную, бессмысленную смерть на ногах, как подобает мужчине, более гордый, чем сама эта царица подземного царства, встречает он ее. Колеблется старые ноги, дрожит рука, уже стиснутая железным объятием смерти, но шпага, орошенная черной кровью негодяев, сверкает победным светом и до последнего движения не изменяет великому сердцу, которому изменило все: счастье, любовь и сама жизнь.

Дорогу гасконским дворянам!

«Курьер», 1900, № 258, 17 сентября.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

дычеству на ее берегах, прячется в лесах, и вольным ветром приносится сюда, раздражая и беспокоя кротких людей, для которых городская площадь — олицетворение бесконечности, а кривой переулочек, сдавленный каменными громадами, — синоним простора.

На юге, в черноморских городах, я видел много сильных машин и гигантских пароходов и возле них копошились маленькие, чем-то придавленные люди. Там были турки, армяне, маороссы, черногорцы и русские, и на лицах всех их сквозила рабская забитость и та безнадёжная приниженность, которая в совокупности с громадной физической силой делает зрелище человека отвратительным и ужасным. И оттого все, и высокие ростом и низкие, казались мне маленькими,

и только редкими пятнами проглядывали независимые и решительные лица.

И когда в первый раз в жизни я попал на Волгу — она поразила меня своими людьми... Тот же был тяжелый, подневольный труд, также сгибались спины под многопудовой тяжестью и также велики были машины и пароходы — но люди были другие. Широкобородые, рослые, они говорили громко и ходили так прямо и свободно, как будто никогда им не приходилось сгибаться. Они пели красивыми свободными голосами, и сама печальная песня в их мощных грудях перерождалась в широкий и веселый призыв к жизни. И я долго не мог понять, почему машины кажутся мне такими маленькими и слабыми, а люди большими и сильными, и даже самый кро-

хотный из них глядит так, будто всю свою жизнь он не слезал с колокольни.

Но когда передо мной развернулась Волга, и леса синей щетиной побежали по горам, и узкой, прозрачной полоской протянулся на воде луговой берег, и небо, отпрянув от земли, раздалось вверх и вширь — я понял, почему здесь все глаза смотрят так прямо, а груди дышат так легко и свободно. И когда наступила ночь, она не придавила собой земли, а еще шире раздвинула пространства. Возле Жигулей пароход наш остановился и дал несколько свистков. Морские суда, обыкновенно, режут угрюмо, сильно и деловито, железнодорожные паровозы, эти сплошные убийцы, у каждого из которых колеса покрыты человеческой кровью, орут грозно, предосте-

регающе или озабоченно посвящаются; а волжские пароходы кричат звонко, высоким металлическим звуком, и так весело, как будто не дело делают, а песни поют. И наш пароход закричал торжествующе и звонко, а когда он умолк — Жигули, где-то на страшной высоте, радостно повторили его крик, и еще и еще... Все дальше уходил металлический звук, бесконечно повторяясь и проникая в черные лесные провалы, и так широк казался мир.

Еще недавно, осенью, я смотрел в Нижнем-Новгороде с крепостной стены на Волгу и беспредельную луговую и лесную даль и думал, что привычные к этому виду глаза едва ли могут помириться с серенькой действительностью, и самую большую площадь, хотя бы Театральную, счесть за идеал простора.

«Курьер», 1901, № 323, 27 ноября.

А. А. Потехин в своем ответном слове на приветствия отдал прочувственную дань Волге, славной реке, вскормившей столько славных русских людей:

«Я родился на Волге... На Волге я вдохнул первый раз русским воздухом... На Волге я получил первые впечатления бытия... На Волге я первый раз услышал русский язык, постиг его красоту, полюбил его... На Волге я услышал шемющую русскую песню... На Волге познакомился с русским народом, русским сердцем и почувствовал гордость от сознания, что я — русский... Все это были неясные, но глубокие ощущения, впечатления, чувства».

И под звуки дрожащего голоса А. А. Потехина мне вспомнилась эта великая река со всей ее ширью и мощью, со всем ее неисчерпаемым богатством и красотой. Она — не в роскоши ее пароходов; она — в том могучем духе, который уже сотни лет неистребимо вла-